

Курган

Под плоскостью равнины — тишина.
Возможно, там гроба, возможно, руды,
иные механизмы бытия:
кроты, личинки, зерна на восходе
и мусор времени, берцовый артефакт,
зуб плуга, кровь и марля пехотинца
и ворсом повзrastавшая трава;
курган курганом, шишка горизонта

и пуля глазу; дальше лес сопит
и пальцами вращает, и тропинкой
ведет в болота, где томится газ,
и где коряги вам напоминают
музей Чюрлениса; вокруг лежит Литва
и смотрит в карту неба, но созвездья,
как точки населенных пунктов, стерты,
поскольку здесь дожди, сезон дождей.
Курган похож, когда глядеть с другого,
на расстоянья, — он похож на прыщ,
и если паровым катком наехать,
то кажется — как из жерла вулкана
чумная лава — из его нутра
пальнет загнившей и лежалой жизнью:
все эти предки, листья, поколения
мышей-полевок, воинов грудастых:
вот польский череп с тощей бородой,
межреберье тевтонское, татарский
ошметок кожи, волоса не знавший,
да что-нибудь еще, да то да се...
Могильник, анонимная структура
напластований. Проходящий мимо,
такой как я, за надобностью в лес
по ягоды-грибы, с литовской дамой,
с домашней брынзой, местным коньяком
и настроеньем маньериста в тундре, —
остановись на миг да и подумай:
какой зело курган. И прочь поди.

* * *

Неважно видеть дождь, важнее — слышать.
Поворотясь спиною иль виском
к мерцанию стекла; стекает дом
фасадом на асфальт, стекают крыши,
и небеса, как фольга подо льдом,
и кровь идет по венам тише.

Неважно видеть дождь, важнее — слышать,
снимая со зрачка всю эту пыль
стремящейся воды, автомобиль,
что рассекая лужу, воду лижет,
сворачивая отраженья иль
разбрасывая — дальше или ближе.

Пасхальный вечер, и стоят хлеба,
залитые как бы фонарным светом.
Глазурь отковырни, а там — судьба
изюмом, что таится в тесте этом.

* * *

Бесцветней серого, невзрачней голубого
и мерзче розового, словом — сразу три
в холодном небе; вот тебе забава,
друг Левитан, возьми и повтори.
В подветренных кустах шуршат листвою
золы и собаки этих мест,
отряд ОМОНа, схожий с татарвою,
дает круги с зигзагами окрест.
Ученья в парке... А у нас тут пьянка,
и мы их видим, а они нас нет;
профессор, защитившись, хуторянку
наплясывает, выпивши вполне.
Двадцатилетней давности студенты
пируют с аспирантками; зима
им молодость ссужает под проценты
и с ними заодно пьяна сама.

МЕТОДОЛОГИЯ

1

О vis-à-vis плетение словес...
Твой византийский ум, чтоб разогнаться,
сперва дает круги, как мелкий бес,
притом, что ни коньяк, ни ассигнации
его не будоражат так, как суть
тропы в лесу: то мхи, то буреломы,
сычи, потемки, и в ветвях, чуть-чуть
в ознобе, — звезды... Далеко от дома,
где отпечатнан шаг, — уйти, и где
деваться было некуда; далече
от ранних, в замороженной воде
рассудка, мыслей о себе калечных.
Хошь — водку пей, а надо — "план" кури;
кто ясно мыслит — ясно излагает.
Что мне тебя журить, сама жури,
а мы посмотрим, конфидентка дорогая.

2

Как в Арктике, в мозгу кочуют льдины,
бисквиты холода, трубят то кит, то нерпа,
и иней покрывает, как седины,
брады флажки расставивших там пионеров.
Другой се способ ощущения в потоке
холодных вод — себя; и хмурым ледоколом
сознание движется туда, где не сороки,
а льды трещат; пингвины ходят в школу
на близплывущий айсберг; всяческие гаги
биеньем крыл и криком оглушают
тупеющих во льдах от счастья и отваги...
Все вмерзло, флаг застыл, и радость не большая.

3

Налево — сволочи, направо — педерасты,
чуть позади — просты и добры люди,
а впереди чуть-чуть — жрецы иной касты,
что жрут кита на золоченом блюде.

И я одна никто, ни там, ни этам,
и у меня все отняли, но я
назло себе, эстетам и поэтам,
а заодно и ближних сих гноя
угрюмостью сугубой, депрессивной,
я тоже докажу, что я, что я...

Но рукоблудие и блудомыслье сильно
влияют, так что, правды не тая,
я — снедь, которую не гложет даже рыба;
притом, имея груди и изгибы,
я даже не приманка мужику,
таких боятся, как "кукареку"
боится бес, обходит стороной...
Зачем же вы не возитесь со мной!

4

Вот способы свести с ума себя
и близких, напугать собой округу,
испортить нервы, их же теребя
без усталости и толку, как дерюгу.
Дерет обою кошка, ей видней,
ей, может быть, не нравится орнамент,
иль чует мышь в подполье, там, на дне,
а может быть, и ниже, где фундамент.
Но то — идеи ради, мыши той...
А здесь несет паленым по-старинке
и русской безнадегой, вышито
не гладью, а крестом, как думочка в глубинке.
Коль научилась есть, и спать, и ныть, —
научишься, хотя и понемногу,

и думать, чтоб со всякой стороны
был доступ и к себе, и к Богу.
Через второе — к первому, а нет —
не разбазарь, что дадено от века.
И кто талантлив — снял с себя запрет,
как костыли отбросивший калека.

* * *

В озаренный ливнем сумрак того квартала,
где картаво стучалась вода в водостоках,
в хромой коридор балконов, арок, порталов,
в тупик перспективы без запада и востока, —
сюда третьего дня, как с перепою, зашла
зима, опробовав крыши, ступени, капоты:
легла, не подтаивая, припорошила шлак
последней листвы, затуманила потом
потекшие стекла (в них прохожий сочился);
далекое тра-ла-ла церкви в тумане —
как мир больших величин, разъятый на числа,
а лучше — как мелочь или ключи в кармане.
Осень качнулась и спряталась в разные щели,
щели законопатили, сменили походку,
и гардероб, и сны; перестроились еле-еле
и начали заново, делая вид, что в охотку.
Декабрь похож на витрины больших магазинов:
шубы на буратинах, в стразах унты и яркий,
как бессмертие, фон подсветки: сине-
лиловый — ей-Богу, от мертвых живым подарки.

Отрывок

Бессонница. Светает. И Гомер
стоит на полке; ничего не помню
я из Гомера: долгие периоды,
гексаметры — что греческий орнамент
на портиках и вазах, он зовется
"бегущею волной", он усыпляет вас.

Светаёт долго, соответствий нет
меж циферблатом и оттенками небес,
и если стрелки говорят вам "пять",
то тон небес — что ввечеру, что утром;
и плавно превращаешься в крота
или шахтера, что — одно и то же,
и колобродишь недрами жилища,
повсюду натываясь на себя и
ничего, кроме себя, не обнаружив
и не добыв, — прелестнейший досуг,
не говоря — стиль жизни; только это
отнюдь не стиль, поскольку у меня
нет никакого стиля, это уж, скорее,
как бы в предбаннике таможенном сидишь,
и цербер в лацканах сверлит тебя и сумку,
хотя вся контрабанда в голове,
где и Гомер с бессонницей... Светаёт,
но нехотя и медленно, как будто
испортился небесный реостат
иль ангелы, не выспавшись, зевают,
мол, торопиться некуда, и так,
само собою, рассветет; и девы
абстрактные, в сорочках до пупа,
идут журчать, не попадая в тапки,
среди кафелей улыбочиво слепых,
и наступая на котов несчастных; молодой
отец с отежшими безумными очами,
под мышкою зажав ребенка, варит
как магма поднимающийся кофе,
крича жене: "Подъем, пора кормить!".
Но, слыша что-то ватное в ответ,
он сам бы это рад, дабы не случилось
истерик с этой — хоть куда — красивой
и наглой мамой; кофе убегает.
О, эпос затянувшегося утра.
О, запахи пилюль у стариков.
О, невротические у студенток за-
держки из-за сессий и другого,

что делает поверхностным их сон,
поскольку снится то, что наяву
бывает ими редко достижимо;
но вот во сне начав и сжавши бедра, —
восторга взрыв сливается со звоном
будильника, усиливая сладость,
и, Боже мой, как жаль, что в институт!
Декабрьское утро, без Гомера.
Бессоница, укладываясь спать,
мне говорит: "До скорого свиданья";
ни выселить ее, ни надурить.
Под мышкой без дитяти, без младой
и наглой мамы и жены (все это
уже случилось и стекло в водопровод печали),
помешивая ложкой магму кофе,
шиплю и заклинаю — закипай! —
и солнышко, слепое, как Гомер,
нашаривает подоконник, стену
и седину на бороде моей.
В который раз сбегает мерзкий юркий кофе.

